



КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

От автора

Как-то раз, бессонной ночью, лежа в больнице после операции, я задумался: а зачем я вообще что-то писал? Нет, не то чтобы я прощался с жизнью, просто пока отходит наркоз, голова работает необыкновенно ясно и как-то непроизвольно подводит итоги, еще не понимая, что всякая опасность миновала. Ответов на вопрос, зачем это было нужно, нашлось немало, однако наутро мои озарения бесследно улетучились. Осталась всего одна фраза: «Исчезающее счастье литературы».

Если же без всякой эйфории поразмышлять о том, для чего написаны эти тексты, то получится следующее.

Наиболее серьезные статьи, вошедшие в этот сборник, — их легко узнать по ссылкам и птичьему языку — я писал потому, что к этому обязывает профессия. Литературовед должен уметь разбираться в чужих текстах и объяснять, как пошита гоголевская шинель. Кроме того, ученому не публиковаться нельзя: *publish or perish*, как говорят коллеги за океаном. Печатайся или пропадай. Что не исключает заинтересованности темой научной работы.

Более легкие тексты — в основном рецензии — написаны за те два года, когда я подрабатывал литературным обозревателем. Это была чудесная халтура: почитываешь новые книжки, хвалишь их или ругаешь, — все совершенно свободно, а за это еще и платят.

Иногда приглашали в жюри литературных премий. Там тоже надо было хвалить или ругать, но свободы оставалось меньше. Кругом минные поля: можно почем зря обидеть талантливую человека или же окрылить неутомимого графомана.

Некоторые эссе мне заказывали редакторы сборников и альманахов. Как ни странно, такие тексты получались лучше всего. Заказчикам мои тексты нравились, мне самому тоже. Кому они не нравились, так это родственникам тех писателей, о которых шла речь в эссе. Две статьи для посмертных изданий известных литераторов, заказанные и одобренные редакторами, выкинули из готовых книг наследники-правообладатели. Рассуждая без эйфории, должен признать, что я на их месте поступил бы так же. Однако на своем месте считаю возможным их напечатать.

Наконец, были эссе почти художественные — виньетки, как называет этот жанр его признанный мастер, — написанные безо всяких «надо» и «должно», просто так, по велению души. Ну захотелось, например, вспомнить счастливые деньки, или написать письмо Саше Соколову, или спародировать Набокова.

Поводы для сочинения эссе, статей и собственно прозы были разные, а причина одна. Во всем, что я писал, по-настоящему ценным был тот момент, когда находится единственно правильное слово — и мир сразу наполняется звуками, красками и смыслами, ты чувствуешь, что живешь, и в то же время боишься: сейчас все исчезнет. Потом все действительно исчезает, вместе со страхом. Жизнь кончилась, можно спокойно существовать и ничего не бояться.

Это, наверное, и есть исчезающее счастье литературы.

I

Аура

«Жизнь имеет смысл, только если человек лежит в траве и смотрит в небо. Желательно, чтобы это было на берегу реки. Также желательно иметь в зубах травинку».

Эти строчки написаны в городе Турку, на берегу реки Ауры. Вы можете представить себе реку по имени Аура? Да, именно такая: небольшая, тихая, с низкими берегами, поросшими травой и кустарником.

Два года я жил в самом центре (и в то же время почти на краю) этого города, в двух шагах от собора, напротив дома архиепископа. Улица называлась Пииспанкату или Бископсгатан — улица епископа.

В двухстах метрах от нас с епископом располагался университет — Обо Академи. Шведская буква А с кружочком наверху читается как «о», и город Турку, который русские со времен Пушкина называют Або, на самом деле по-шведски звучит как Обо (кстати, Гребенщиков, должно быть, до сих пор не подозревает, что всю жизнь играет и поет в Оквариуме). Университет был шведскоязычный, старинный, даже с богословским факультетом, но очень либеральный. Я писал там PhD. Внимательно рассмотрев мою kandidaatskaaya, финно-шведы посоветовались и решили, что я, должно быть, *lisensiaatin* — степень невысокая, но дающая право на полную свободу. Лицензиат при написании докторской диссертации

ничему не учится, никаких экзаменов не сдает и ничего не должен посещать. Просто пишет в свое удовольствие то, что свободно льется из его иностранной души, причем на своем родном языке. «Можешь писать здесь, можешь ездить домой, только пиши, пожалуйста», — сказали финно-шведы. И сначала я ездил — не только домой, но и по всей Европе, порхал с конференции на конференцию, как выпущенная на волю ученая птичка. А потом перестал. Я полюбил Ауру.

Гуманитарный факультет находился — и, надеюсь, до сих пор находится — в здании бывшей фабрики, прямо на берегу этой чудесной реки. В Турку очень любили переделывать старые, имперских времен фабрики под разные культурные заведения и инсталляции. На длинной фабричной трубе посреди города торчали зачем-то числа Фибоначчи. В одном из бывших заводов разместился морской музей — Forum Marginum, где утлые челны печальных пасынков природы соседствовали с ослепительным фрегатом «Suomen Joutsen», «финским лебедем». На нашей университетской фабрике при реконструкции сохранили внутренние объемы, и в результате возникли огромные коридоры, недостижимые потолки, просторные аудитории и гигантские кабинеты. Мне определили в качестве рабочего места бывшую мастерскую площадью метров в шестьдесят. Примерно столько же места занимает кафедра русской литературы СПбГУ, где я сейчас работаю, только кафедру нашу делят по-братски тридцать преподавателей и в ее помещении с утра до вечера идут занятия, а в мастерской я сидел один. Дальше оказалось, что сидеть там можно круглосуточно — фабрика не запиралась. То есть она запиралась, и надежно, но на электронные замки, а финно-шведы выдали мне от них карточку и сказали: «Приходи в любое время, только пиши, пожалуйста».

Писал я в основном по ночам. Это было очень романтично: «В соседнем доме окна желты». Фабрика никогда не спит. То есть спит, конечно, но, представьте, одно окно светится не-

угасимым желтым пламенем всю ночь. Иногда ближе к утру заглядывала полиция. Увидев иностранного ученого за рабочим столом в процессе производства смыслов, poliisi уважительно кивали, желали успехов и шли дальше.

Собственно, все лучшее, что я написал в жизни, — ту самую PhD диссертацию и книжку «Сказки не про людей» — написано в городе Обо на реке Ауре. Остальная жизнь прошла, в общем-то, зря, в мелкой суете. Что-то отвлекало, что-то развлекало, что-то обязывало, чего-то не хватало — причем непонятно чего. Только попав в Турку, я опытным путем, совершенно случайно, выяснил, чего именно мне недоставало, чтобы начать писать: возможности полежать на берегу реки, имея в зубах травинку.

Знакомых в городе у меня было всего двое — оба финны, оба ни слова не знавшие по-русски. Мы просиживали долгие часы в кафе на мягком divaani под раскидистым sontikka, выпивали огромное количество красного viini и не спеша цедили:

— А правда, Лассе, что у вас в Финляндии есть озеро в форме Финляндии?

— Правда. У нас в Финляндии есть очень разные озера.

Но вот настало лето, все разъехались, и я остался совсем один. Говорить было не с кем. Как-то раз ближе к вечеру я заметил, что за весь день не сказал вслух ни слова, кроме “hei” и “kiitos” — «привет» и «спасибо» — кассиру в магазине. На следующий день это повторилось. Так прошла в молчании целая неделя. Потом другая. Я писал диссертацию, абзац за абзацем, и ходил гулять за город. «Загород» начинался сразу за фабрикой: надо было пройти через небольшой туннель у моста через Ауру, и речка немедленно выводила в поля. Я проходил пару километров по прибрежной тропинке до маленького водопада, потом ложился на землю и долго смотрел на воду и на противоположный берег, где высилась еще одна фабрика, — возможно, также приспособленная финно-шведами под производство смыслов.

Вот там на меня и накатило. Или озарило — это как посмотреть. Вообще говоря, почти все поэты уверяют, что им кто-то диктует сверху. Некий херувим, по Пушкину. Или некий серафим, согласно Цветаевой. Но не верьте поэтам, а тем более подражающим им прозаикам. Это вовсе не знак богоизбранности, даже не знак качества. Просто люди набивают себе цену. Мой любимый эссеист Самуил Лурье писал, что гипотеза Сальери о трансляции божественных звуков непосредственно херувимом — излюбленное оправдание графоманов.

Однако хотите верить, хотите нет, а только жарким июльским полднем 2003 года у прохладной речки Ауры, в двух километрах от старой гуманитарной фабрики, под ясным небом, по которому не спеша проплывали пухлые кучевые облака, похожие то на херувимов, то на серафимов, — кто-то продиктовал мне сказку. Звучным таким голосом, в полусне, от слова и до слова, страницы две. Она не вошла в сборник «Сказки не про людей» (хотя была уж точно не про людей), и публиковать ее я не стану. Оказалась она, увы, совершенно бредовой и нечитабельной. Видимо, посланец небес в процессе трансляции райских звуков в мою голову что-то перепутал. Я допускаю даже, что послание предназначалось другому. Но не расстраивать же ангела возвратом почтового отправления?

Дальше я взялся за дело приставления слов друг к другу уже самостоятельно. Причин для такого решения было две. Во-первых, хотелось с кем-то поговорить. Во-вторых, просто физически ощущалось: теперь ничто не мешает, все получится, надо только не спешить.

Я понял, что если очень долго, по-флоберовски, сидеть над одной строчкой, то рано или поздно войдешь в состояние, неотличимое от контакта с ангелом. Главное — терпение. Вступление к сказочной повести «Звездный Бобо» я писал, помнится, недели две.

О чем же я писал? — Да понятия не имею! Этот беспоконный вопрос исчез сам собой, вместе со всеми остальными

беспокойствами и препятствиями. И стоит ли волноваться, если будучи знатным литературоведом — лицензиатом, почти доктором! — ты чувствуешь уверенность в своей способности дать глубокомысленное истолкование любому тексту, от стихов Винни Пуха до прозы Пополь-Вуха. Надо только посидеть подольше.

И действительно, когда через несколько лет понадобилось объяснить читателям, о чем мои тексты — и диссертация, и сказки, — я внимательно все перечитал и вывел общий знаменатель. Оказалось, что пишу я о субъекте, находящемся в некоем лиминальном положении — как будто между землей и водой или между землей и воздухом, на пороге лучшей жизни, причем субъект этот прямые проторенные пути отвергает, но неумолимое течение времени, подобно реке, влечет его за собой, заставляя этими путями следовать. И в конце концов все оканчивается даже к лучшему — ну, примерно как в сказке про червяка и микроба, проделавших длительное путешествие по пищеварительному тракту и в конце пути увидевших естественный свет. Называлась эта сказка, кстати, «Внутренний мир». Обнаружилось и скрытое свойство открытых финалов — выбравшись на волю, герои, по всей видимости, в дальнейшем погибали, хотя в тексте об этом прямо не говорилось.

Защита докторской диссертации состоялась зимой 2004 года и проходила на русском языке. Оба моих финских знакомых присутствовали на защите и одобрительно кивали, слушая русские слова. Мне присвоили искомую степень, прибавив — почему-то на латыни — «весьма похвально». Книжка «Сказки не про людей» была опубликована издательством «Livebook» и получила несколько положительных отзывов критиков. В городе Турку я больше не бывал и, наверное, никогда не решусь туда приехать.

Иногда мне снится Аура.

Лесной

9 мая 1965 года праздновали двадцатилетие Победы.

По этому случаю исполком Ленсовета принял решение дать имя безымянному «пяточку», возникшему еще сто лет назад на пересечении двух улиц, Большой и Малой Спасских, и трех проспектов — Алексеевского, Старопарголовского и Второго Муринского. Пятачок расположился в очень важном для Ленинграда месте — на пути из центра к Пискаревскому мемориальному кладбищу, куда отныне должны были возить по вновь проложенной «правительственной трассе» важных гостей в черных автомобилях. Кучка домов, испуганно жавшаяся на пяточке с самой революции, все-таки дождалась своего часа: она подлежала сносу. На ее месте планировалось создать круглую площадь, охраняемую часовыми — выстроенными по единому проекту высокими домами.

Площадь Мужества.

От прежнего пяточка решили оставить четыре дома. Маленький романтический особнячок с башенкой, который народ называл «дачей Шаляпина» (увы, Шаляпин там никогда не бывал). Круглую баню-«шайбу» (в наши дни ее уже не тронут — признана памятником конструктивизма, но тогда шайбу пощадили, я думаю, по другой причине: людям, даже живущим в музее, надо мыться). И два дома Политехнического

института — общежитие для студентов-иностранцев и пятиэтажный дом с высокой трубой, заселенный в основном семьями преподавателей.

Указ о создании площади-памятника и постановление о сносе безыдейного пятачка вышли 15 мая 1965 года. А 13 июля в доме с трубой произошло важное лично для меня событие.

Я там родился.

Район назывался Лесной, или Лесное. Название пошло от Лесного института, впоследствии Лесотехнической академии. Этот институт — белое здание, окруженное парком, — возник здесь еще в 1811 году и обозначил южную границу будущего района. Только через сто лет появилась северная граница — Политехнический институт, тоже белое здание, окруженное парком. Мало кто знает, что петербургский Политех строили как почти точную копию берлинского. Оригинал не пережил войну, наши разбомбили его в 1945-м. Копия выжила: блокадники вспоминают, что немецкие снаряды сюда не долетали — совсем чуть-чуть. Копия, не имеющая оригинала, в философии называется обидным словом «симулякр» («притворщик»). Считается, что притворщик изображает то, чего на самом деле не существует и никогда не существовало. Мне кажется, что авторы этой теории не приняли в расчет бомбежки.

В нашем городе очень много симулякров.

Между Лесотехнической академией и Политехническим институтом расположились — со временем так или иначе уходя в небытие — ленинградские НИИ: Котлотурбинный, Физико-агрономический, Постоянного тока, Радиевый, Телевидения, а также знаменитый Физтех — Физико-технический институт им. Иоффе. Мой дед всю жизнь проработал в Политехе. Отец в момент моего рождения трудился в Институте постоянного тока. Я в 1982 году поступил в ЛЭТИ на «алферовскую» кафедру. Со второго курса занятия проходили в здании

Физтеха. Студентов принял сам Жорес Иванович Алферов — уже академик, но еще не Нобелевский лауреат. Помню, что он советовал побольше заниматься физкультурой, особенно бегом, поскольку для настоящего физика главное — это здоровье (а я уважительно посматривал на огромную, полную до краев окурками бронзовую пепельницу у него на столе). Все, кто тогда внимательно слушал речь академика о пользе бега, потом сбежали за границу — кроме меня, физиком так и не ставшего.

«По данным на 1982 год, в Ленинградском научном центре работают свыше 23 тысяч человек, в том числе 25 академиков, 57 членов-корреспондентов, свыше 900 докторов и около 3,5 тыс. кандидатов наук».

В том числе мой отец, умерший в 1983-м.

Говорят, что до середины 1960-х Лесной был самым зеленым районом города. Здесь были дачи и дачки, сады и сажники, кусты сирени, клумбы с цветами, бескрайнее море сосен и соединенные канавами пруды — Золотой, Серебряный, Круглый. Это был полупригород, предместье, связанное с городом живой ниткой трамвайных рельсов. Девятый, восемнадцатый, тридцать второй, сороковой, пятьдесят третий — все с разноцветными огоньками — сходились на кольце у Политеха. Значительно сокращенный сороковой маршрут существует до сего дня. От прочих остался эфемерный след: линия трамвая на площади Мужества сворачивает на Второй Муринский точно в том же месте, что и сто лет назад, следуя изгибу снесенных домов.

Эту линию открыли первой в Петербурге, в 1886 году. Через сто лет система ленинградского трамвая стала самой большой в мире и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. В новом Санкт-Петербурге от нее каждый год методично отрезают по куску, и очень скоро не останется совсем ничего.

Кроме воспоминаний.

От Института постоянного тока к дому с трубой шел переулочек с чисто петербургским названием — Пустой. Помню, что по этому переулочку я ходил в «булочную на Яшумова». Или это наваждение, абберрация памяти? Не мог я туда ходить, ведь интернет утверждает: известный с 1887 года Яшумов переулочек частично уничтожен в 1950-е, а в 1964 году его остатки слились с улицей Курчатова. Но я ясно слышу голос покойной матери: «Через полчаса будем обедать. Сбегай-ка на Яшумова за хлебом».

Можно ли вообще что-то вспомнить о нашем городе?

В том же 1964 году Пустой переулочек назвали именем Шателена. Мой дед работал с Михаилом Андреевичем Шателеном, есть фотография, где молодой дед (1903 г. р.) стоит за спиной почтенного господина с бородкой (1866 г. р.), они рассматривают какие-то серьезные графики. Дед умер, когда мне было тринадцать лет, о Шателене он не рассказывал, и это красивое французское слово так и осталось для меня переулочком, до сих пор полупустым, поскольку всю его восточную сторону занимает длинный высокий забор, за которым расположена недоступная для простых смертных территория. Такие участки на карте города оставляют пустыми, закрасив серым цветом, и любой ленинградец покажет вам серый многоугольник рядом со своим домом, навеки огороженное пространство, вдоль стены которого он идет всю жизнь, никогда не попадая внутрь.

Наш город состоит из разнообразных пустот.

Где-то к 1990 году я осознал одну странную вещь. До тех пор мне казалось, что, гуляя по городу, я прохожу мимо Адмиралтейства, Академии художеств, Сената и Синода: любителю старых романов мерещилось, что он живет в Санкт-Петербурге. Осознал же я, что хожу мимо Военно-морского училища им. Дзержинского, Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, Исторического архива, причем попасть в эти здания по большей части трудно или совсем невозможно. Стало

ясно — я живу в Ленинграде. Но ясность сохранялась недолго: в 1991 году город переименовали в Санкт-Петербург. Потом начали возвращать названия улиц, и появилась возможность прогуляться по Большой Морской, что твой Набоков. Спустя еще какое-то время Музей религии и атеизма (Казанский собор) стал проводить богослужения, покамест не убрав экспонаты, представлявшие ужасы инквизиции. А потом в здание Сената вернули высшую судебную инстанцию (чем и был Сенат на излете империи), и жить стало еще страннее.

Стоит что-то понять про этот город — и он тут же изменится.

Я гуляю по Политехническому парку, где знакома каждая тропинка: тысячу раз я проезжал по ним в детстве на велосипеде или пробегал трусцой, готовясь стать настоящим физиком. Вот самая красивая в мире водонапорная башня, часть кафедры гидротехники, маячившая в моем окне все детство. Вот Первый и Второй профессорские корпуса — лучшие места для жизни во всем городе. Памятная доска на Первом: здесь с 1902 по 1957 год жил выдающийся энергетик профессор М. А. Шателен. (Наш дом с трубой был де-факто третьим из корпусов, но не получил звания профессора, как и мой дед.) Вот Дом ученых в Лесном. Сюда нас водили в четвертом классе на встречу... — господи, какой же я старый! — на встречу с ветераном Гражданской войны, бойцом 25-й Чапаевской дивизии. Старик закусил зубами беломорину и прошелся по сцене церемониальным маршем, показывая, как на самом деле проходила психическая атака — неправильно, по его мнению, показанная в фильме «Чапаев» (сейчас историки уверены, что такой атаки не было вовсе). Сюда же мы ходили с родителями в кино. Точно знаю, что в канун 1978 года в Доме ученых шел фильм Чаплина «Огни рампы». Дату подсказывает воспоминание: когда возвращались домой по Политехническому парку, отец сказал, что актер, который играл

в фильме главную роль и сочинил к нему удивительную музыку, вчера умер. Из самого фильма запомнилась почему-то только молитва старого клоуна. Когда его возлюбленная-балерина выходила на сцену, он опускался на колени за кулисами и молился так: «Господи, если ты есть, помоги ей».

Господи, если ты есть, не дай забыть все это.

Собираю по интернету фотографии Лесного и раскладываю их по порядку, начиная с XIX века. Листаю книгу «Лесной. Исчезнувший мир».

Вот Золотой пруд, по берегу которого, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Вот Серебряный пруд, на льду которого зимой 1928 года снялись на память юные хоккеисты 168-й школы, победившие в соревнованиях на первенство города. Вот памятник блокадному колодцу на уничтоженной Прибытковской улице; фотографии самого колодца не сохранились, и даже место его расположения неизвестно. Глубокий старик всматривается в застроенный чужими домами двор своего детства. Видите, здесь линия домов чуть-чуть изгибается? Это след прежней улицы, снесенной в 1960-х годах. Больше от нее ничего не осталось.

Кроме меня.

«Исчезли улицы: Новая, Лесная, Янковская, Объездная, Раздельная, Яковская, Ананьевская, Васильевская, Михайловская». «Исчезли сады и палисадники, сады и куртины, клены, ясени, плакучие березы, дубовые рощи, жасмин, сирень, бузина». Исчезли картины в тяжелых рамах, кровати с никелированными шишечками, дровяные сараи и деревянные церковки, фонари и фонарщики, песочницы и качели, ЖАКТы и управдомы, смешные собачки, разноцветные стекла на верандах и сами веранды. «Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь». «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно».

Обрывки фотографий, дневников, мемуаров умерших людей:

«...7-го класса. Июнь 1942 года...»;

«...обстрелы нашего района из дальнобойных. Пока живы. Очень голодно...»;

«...вещи и бумаги таинственным образом исчезли после ее смерти...»;

«Не осталось даже яблонь».

Трамвай, который не сворачивал на пяточке на Второй Муринский, продолжал движение по Малой Спасской. Позади последнего вагона загибался полукругом воздушный шланг пневматического тормоза, именуемый в просторечии «колбасой». Повиснув на трамвайной колбасе, не попавшие внутрь пассажиры как ни в чем не бывало катились дальше по своим делам. Говорят, что именно от этого происходит всероссийски известное выражение — «катись колбаской по Малой Спасской».

Вот и все, что сохранилось в памяти народной от нашего района.

Они катились от действующего до сих пор трамвайного кольца возле копии берлинского Политеха, мимо памятника чистейшего банного конструктивизма, мимо дачи Шаляпина, мимо дома с трубой, мимо дач и дачек, садов и садиков, мимо кустов сирени, мимо частично выживших сосен и частично засыпанных прудов. Катились колбаской по Малой Спасской по направлению к центру города, к Адмиралтейству, к Академии художеств, к Сенату и Синоду, к местам, где по-прежнему стоят пятнадцать тысяч старых домов, переживших войну и Матвиенко, окруженных серыми пустотами, к местам, у которых редко бывает добрый гений, но обязательно есть история выживания.

Привет от Ким Чен Ына

2016 год, весна. Я живу в пригороде Сеула, в университетском кампусе. Поселили меня в студенческом общежитии, но в отдельном номере, на верхнем, двадцатом этаже. Дом к тому же стоит на холме, и из окна открывается совершенно захватывающий вид на такие же двадцатипятиэтажные дома до самого горизонта. А за горизонтом, страшно сказать, — Северная Корея.

И вот сижу я дома, пишу статью, а иногда, чтобы отвлечься, почитываю новости. А в новостях сообщают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын проводит одно за другим испытания ядерной бомбы и грозит обрушить на проклятых империалистов и их подлых марионеток море огня. А от моего дома до границы километров тридцать, так что можно сказать, живу я практически на берегу обещанного вождем моря.

Вот читаю я эти новости, и вдруг раздается сирена, а затем включается громкоговоритель. Я и не знал, что они тут есть в каждом номере. И женский голос взволнованно произносит какие-то фразы на корейском языке. И повторяет. Очень взволнованно. Потом опять сирена, и все с начала.

Я подхожу к окну — и тут мимо на бешеной скорости проносятся два истребителя. В сторону северной границы.

«Ну, началось!» — думаю я.

Хватаю паспорт, бумажник, телефон и томик Чехова и бегу вниз, в бомбоубежище — которое здесь, разумеется, есть в каждом доме. Лифтами в таких случаях пользоваться нельзя, даже если их пока не отключили.

На бегу достаю телефон и принимаюсь искать номер корейского приятеля. Руки трясутся. На пятнадцатом этаже удается правильно набрать номер, на восьмом слышу ответ. Даю послушать объявление, которое и на лестнице звучит так же громко и так же взволнованно. На четвертом подношу трубку к уху и спрашиваю:

— Ну?

Он не очень хорошо говорит по-русски, поэтому не сразу находит нужные слова. Я успеваю добежать почти до первого этажа:

— Она... эта девушка... она говорит, что через час совсем не будет... не будет... как это по-русски...

— Ну!

— Горячей воды.

Современное искусство с человеческим лицом

После публикации романа «Бес искусства» меня стали часто спрашивать, неужели я нигде и никогда не видел хорошего современного искусства?

— Никогда-никогда не видели ничего человеческого? Неужели везде и всюду только говно в коробочке?

Я попытался честно вспомнить хоть один случай — и вспомнил.

Дело было в Японии. Я прилетел туда с небольшой группой коллег, чтобы провести семинар по русскому языку и литературе. Собственно, в мои обязанности входило прочесть одну лекцию — и все, свободен, в оставшееся время можно было впитывать японскую культуру. При этом я знал, что проведу в Японии всего три дня — ужасно обидно. Я даже придумал что-то вроде утешительной шутки, которой буду потом отвечать на вопросы, долго ли я там был: три года в Южной Корее, три месяца в Китае и три дня в Японии.

Естественно, что сразу по приезде, бросив вещи в гостинице, я побежал смотреть Токио. Точнее — не побежал, а пошел. И даже так: повлекся. Сил оставалось совсем чуть-чуть. Встать в шесть утра, доехать до Пулково, долететь до Москвы, просидеть три дурацких часа в Шереметьеве, потом

десятичасовой перелет, потом часа два от аэропорта до центра Токио — сколько всего получается? Лучше не считать. Короче говоря, чувствовал я себя узником НКВД на допросе, когда от тебя требуют признания, что ты, допустим, японский шпион, и не дают спать трети сутки. Переминаешься на ватных ногах и пытаешься сообразить, какое из белых пятен — лампа, а какое — физиономия следователя.

К счастью, я заранее наметил четкий план, что и в каком порядке смотреть, и можно было действовать почти автоматически. Оперативно оторвавшись от коллег — любителей суши и сашими, — я отыскал заранее отмеченное на карте место: небоскреб, с которого смотрят на Фудзияму. Целый этаж — шестидесятый, кажется, — в этом здании отведен для созерцания священной горы. Я кое-как протолкался к стеклу, запечатлел на телефон синий конус на желтом фоне, а затем закрыл глаза и попытался прислушаться к своим чувствам. Ну надо же что-то почувствовать, когда видишь Фудзияму в первый и, скорее всего, последний раз в жизни? Однако я тут же понял, что обращение внутрь себя было грубой ошибкой. Пока работаешь с внешними раздражителями — разрезаешь толпу или, скажем, переходишь дорогу, — что-то держит рубильник сознания включенным. Стоит закрыть глаза — и все, тебя больше нет.

Поспешно их открыв, я направился дальше. Следующим по плану был знаменитый музей современного искусства, располагающийся в том же самом небоскребе двумя этажами выше. Тут у меня имелся хитрый расчет: бодрое чувство лютой ненависти, которое обычно вызывают в моем организме произведения актуальных художников, должно было помочь продержаться часа два. И первые полчаса все шло совсем неплохо. Холодные волны негодования, привычно набегавшие от произведений Кляйна и Кошута, приятно остужали голо-

ву и если не прогоняли, то на время отпугивали сон. Однако дальше стало хуже. Музей оказался очень большим. Он вмещал не только заслуженных и международно признанных жуликов, но и множество их японских подражателей. И от местных инсталляций набегали, как бывало в России, волны уже не лютой ненависти, а тихого, уютного презрения, что совсем не способствовало борьбе со сном. Пройдя десяток залов, я почувствовал: все, больше не могу. Я сейчас лягу на этот деревянный, чисто вымытый пол и засну. Пусть японские городовые бьют меня бамбуковыми палками по пяткам. Буду отвечать сквозь сон: «Гражданин начальник, я не японский шпион».

И тут совершилось чудо. Уже совсем собравшись рухнуть на пол, я увидел очень странную инсталляцию и решил прежде понять, что она значит.

Перед стеклянной стеной зала — с видом, кстати, все на ту же Фудзи — стояло на небольшом помосте очень старое, очень мягкое и, по-видимому, очень удобное кожаное кресло.

Рядом висела фотография старой женщины в кимоно и табличка с английским текстом. Художник — как жаль, что я не запомнил его имени! — писал примерно следующее:

«Дорогой посетитель! Моя бабушка была первой женщиной-врачом, работавшим на Тайване. Всю свою жизнь она трудилась по четырнадцать часов семь дней в неделю, а приходя домой поздно вечером, подолгу отдыхала в этом кресле. Дорогой посетитель! Пожалуйста, из уважения к моей бабушке, посидите немного в этом мягком удобном кресле. Сердечно вас благодарю».

Не знаю, сколько я просидел в бабушкином кресле. Должно быть, часа три или четыре. Снилось мне, естественно, Фудзияма — синий конус на фоне желтого заката. Когда

я проснулся, заката уже не было — за стеклом была непроглядная тьма.

Глубоко, по-японски поклонившись бабушке художника, я с новыми силами отправился дальше разглядывать Кляйна и Кошута.

2018

II

Об интересном литературоведении

Первым об «интересных теориях» заговорил, кажется, Борис Гройс¹. Интересные теории, утверждал философ, во всем подобны интересным мужчинам. А интересные мужчины — это такие мужчины, которые интересуются исключительно вином, женщинами и картами. Отсюда, заключал Гройс, происходит специфика интересных теорий: они «обычно рассуждают о желании (женщинах), о случайности и семиотике (карты) или о дионисийском растворении в коллективном бессознательном (вино)». Обязательное условие возникновения к ним интереса состоит в том, что излагаться они должны несколько загадочно: «...на фоне интересных теорий, состоящих из отступлений и из несказанного, любое без экивоков сказанное слово выглядит пошлым и плоским»².

Статья Гройса называлась «Новости с теоретического фронта», была написана в 1997 году и начиналась сообщением: «Теория умерла». Сегодня работу на ту же тему можно было бы назвать «На теоретическом фронте без перемен».

Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть последний номер любого западного литературоведческого журнала.

¹ См.: Гройс Б. Новости с теоретического фронта // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 50–53.

² Там же. С. 51.

Или — еще нагляднее — посмотреть, чему учат, скажем, на отделении Comparative Literature самого продвинутого в мире университета — Беркли в Калифорнии. Вот названия некоторых курсов: «Как девственница: чистота в литературе»; «Секс и насилие: литература и политика садомазохизма от Петрарки до наших дней»; «Femmes Fatal: фантазии о женственном зле»; «En Vogue: любовь и мода от поп-культуры до кутюр»; «Что мне делать с моей блузкой? Женщины, эротизм и сила пера». Не все названия легко поддаются переводу. Вот как, например, перевести на наш недостаточно продвинутый язык *Queer Ecologies*? «Экологическая проблематика, имеющая отношение к однополой любви»? А может, лучше предложить вольный перевод: «Розовое, голубое и зеленое»?

Все это читается на кафедре сравнительного литературоведения, которая по традиции выполняет также роль кафедры теории литературы. «Введение в литературоведение», кстати, я там не нашел, первокурсникам предлагается только пропедевтический курс «Однополая сексуальность: категории и понятия». При этом не все интересное даже в Беркли относится к области сексуально-интересного. Есть и другие курсы: «Есть и быть съеденным»; «О насекомых в литературе»; «Быть или не быть... счастливым?»; «Писание на ногах»; «Истории полетов в американской культуре»; «Андрогинность и гермафродитизм: теории и литература». Ну и так далее. Всего не перечислишь.

Понятно, что мы живем на разных планетах. Одно только название любого из наших курсов — например, того, который читаю я на русском отделении филфака СПбГУ: «История русской литературы второй половины XIX века, часть вторая», — наверняка вгонит счастливых берклианцев в ступор. Нет, вы только сравните: «Что мне делать с моей блузкой?» и «Основы стиховедения».

Содержание

От автора	5
---------------------	---

I

Аура	9
Лесной	14
Привет от Ким Чен Ына	21
Современное искусство с человеческим лицом	23

II

Об интересном литературоведении	29
Идиллия и прогресс	44
Исчезающий Гедройц	63
Уроборос: плен ума Виктора Пелевина	70
Плоды просветления: пять пелевинских «П»	78
Избавиться от других	84
Жить в Монголии	90
«А» и «Б» патриотизма	94
Олег Стрижак и число Грэма	101
К чистому истоку	110
Случай Сергея Носова	113

О «проэзии» Саши Соколова	119
Минимализм как коммуникативный парадокс	127

III

Бродский о Чехове: отвращение, соревнование, сходство	167
Предчувствие конца (Левитан и Чехов)	186
Об отношении к мертвым словам (Чехов и Сорокин).	198
Акунин и Чехов: головоломка «две чайки»	219
«Герой иного времени» Акунина: интертекстуальные трансформации	230
Чеховские мотивы в рассказах Элис Манро	240
«Спящая красавица» сегодня: к вопросу о границах интертекстуального и мифопоэтического подходов	252

IV

Письмо Саше Соколову	277
Подделочка Лорочки	280